



КНИГА ПЕРВАЯ

I. Большой зал

Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами Ситэ, Университетской стороны и Города. Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола, и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт школяров, ни въезд «нашего грозного властелина господина короля», ни даже достойная внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последнее из них — это были фламандские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, — вступило в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который из угождения королю должен был скрепя сердце принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасной моралите,

шуточной сатиры и фарса», пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец.

Событие, которое 6 января «взволновало всю парижскую чернь», как говорит Жан де Труа, было двойное празднество, объединившее с незапамятных времен праздник Крещения с праздником шутов.

В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб на всех перекрестках глашатаи господина парижского прево, разодетые в щегольские полукафтаны из лилового камлота с большими белыми крестами на груди.

Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие — майскому дереву, третьи — мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак, следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие — смотреть мистерию в хорошо защищенном от холода зале Дворца правосудия; а бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом, на кладбище Бракской часовни.

Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фламандские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большом зале дворца.

Нелегко было пробраться в этот день в большой зал, считавшийся в то время самым обширным закрытым

помещением на свете. (Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадный зал в замке Монтаржи.) Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки людей. Непрестанно возростая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади.

Посредине высокого готического* фасада Дворца правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался двойной поток людей; расколовшись ниже, на промежуточной площадке, надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам; эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергавшемуся в озеро. Крик, смех, топот тысячи ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался: течение, несшее всю эту толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо лягавшая лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок; эта милая традиция, завещанная парижским прево коннетаблям, перешла от коннетаблей

* Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины Средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод — преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков. *Прим. авт.*

по наследству к конной страже, а от нее — к нынешней жандармерии Парижа.

В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства.

Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, еле удерживаясь на ногах, проникнуть вместе с ней в этот обширный зал дворца, казавшийся в день 6 января 1482 года таким тесным, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования; нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны.

Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог этого обширного зала и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтанья и безрукавки.

Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами — двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанной золотыми лилиями по лазурному полю; под ногами — пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий — всего на протяжении зала семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых четырех столбов — лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой; вокруг трех

остальных — истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами судившихся и мантиями стряпчих. Кругом зала вдоль высоких стен между дверями, между окнами, между столбами — нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда: королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъявших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах — тысячецветные стекла; в широких дверных нишах — богатые, тончайшей резьбы двери; и все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом раскраской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда дю Брель по традиции все еще восхищался ею.

Теперь вообразите себе этот громадный продолговатый зал, освещенный сумеречным светом январского дня, наводненный пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы уже получите смутное представление обо всей той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее.

Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный дворец

с его старинным залом, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите полюбуйтесь на него»; мы, таким образом, были бы избавлены: я — от описания этого зала, а читатель — от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы.

Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если случайно они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца правосудия; во-вторых, четверостишие Теофиля:

Да, шутка скверная была,
Когда сама богиня Права,
Съев пряных кушаний немало,
Себе все нёбо обожгла*.

Но, как бы ни думать об этом тройном — политическом, метеорологическом и поэтическом — толковании, при-
скорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности же по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немногое уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов

* Игра слов: *épice* — по-французски и пряности и взятка, *palais* — и нёбо и дворец.

великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом.

Исчезло почти все. Что случилось с кабинетом, в котором Людовик Святой «завершил свой брак»*? Где тот сад, в котором он, «одетый в камлотовую тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий», возлежал вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие**? Где покои императора Сигизмунда? Карла IV? Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда, облаченные на посмешище в ризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большой зал, его позолота, его лазурь, его стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, его необъятный свод, весь в скульптурных украшениях? А вызолоченный покой, у входа в который стоял коленопреклоненный каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом

* Людовик IX, король Франции с 1226 по 1270 г., в 1234 г. женился на дочери графа Прованского Маргарите, но ввиду несовершеннолетия невесты юридическое оформление этого брака было завершено только много лет спустя.

** Людовик IX реформировал французское феодальное судопроизводство. По преданию, король сам ежедневно выслушивал жалобы от подданных. Жан Жуанвиль, приближенный Людовика IX, сопровождал его в крестовом походе и принимал участие в его реформах.

правосудия? Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискорнета? Где тончайшая резьба дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые полукруглые низкие своды господина де Броса*, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, — это взамен искусства; что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще доньше отдаются эхом в болтовне всевозможных господ Патрю**.

Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинному залу подлинного древнего дворца.

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описям, стиль которых мог возбудить аппетит у Гаргантюа, «подобного ломтя мрамора никогда не было видано на свете»; противоположный конец занимала часовня, где стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой Девой, и куда он, невзирая на то что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести статуи

* Саломон де Брос (ок. 1570–1626) — французский архитектор, построивший Люксембургский дворец и портал церкви Сен-Жерве в Париже; после пожара 1618 г. перестроил один из главных залов Дворца правосудия.

** Оливье Патрю (1604–1681) — парижский юрист, считался первым адвокатом своего времени и славился ораторским искусством, олицетворял для Гюго придворный литературный стиль XVII в., чем и объясняется враждебный отзыв о нем.

Карла Великого и Людовика Святого — двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только лет шесть тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения.

Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу работы представляла собой настоящий образец искусства. Она казалась кружевной звездой.

Посреди зала, напротив главных дверей, было устроено прилежавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из коридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фламандских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии.

По издавна установившейся традиции представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите, вдоль и поперек исцарапанной каблуками судейских писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взорам всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, — одевальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одевальной и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для

ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии действия, сценические эффекты — ничто не могло миновать этой лестницы. О невинное и достойное уважения детство искусства и механики!

Четыре судебных пристава дворца, неперменные надзиратели за всеми народными увеселениями как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного стола.

Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было несколько позднее время, но оно было удобно для послов.

Тем не менее вся многочисленная толпа народа дожидалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом дворца; иные даже утверждали, будто они провели всю ночь, лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Немудрено, что давка, нетерпение, скука, дозволенные в этот день, зубоскальство и озорство, возникающие по всякому пустяку ссоры, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания — все, вместе взятое, еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было, что проклятия и сетования

по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетью, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуй, этой закрытой двери, того открытого окна — и все это к несказанной потехе рассеянных в толпе школяров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство своими острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство.

Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали свои лукавые взгляды и замечания попеременно то в толпу, находящуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через весь зал, видно было, что эти школяры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидание.

— Клянусь душой, это вы там, *Жоаннес Фролло де Молендино!* — кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примостившемуся на акантах капители. — Недаром вам дали прозвище Жан Мельник, ваши руки и ноги и впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?

— По милости дьявола, — ответил Жоаннес Фролло, — я торчу здесь уже больше четырех часов, надеюсь, они зачтутся мне в чистилище! Еще в семь утра я слышал,

как восемь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель «Достойную».

— Прекрасные певчие! — ответил собеседник. — Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако перед тем как служить обедню господину святому Иоанну, королю следовало бы осведомиться, приятно ли господину Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом.

— Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! — злобно крикнула какая-то старуха из теснившейся под окнами толпы. — Скажите на милость! Тысячу парижских ливров за одну обедню! Да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!

— Помолчи, старуха! — вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. — Обедню надо бы отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?

— Ловко сказано, господин Жиль Лекорню*, придворный меховщик! — крикнул ухватившийся за капитель маленький школяр.

Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика.

— Лекорню! Жиль Лекорню! — орали одни.

— Cornutus et hirsutus!** — вторили другие.

— Чего это они гогочут? — продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. — Ну да, почтеннейший Жиль Лекорню, брат Жеана Лекорню, дворцового

* Лекорню — по-французски произносится так же, как *le cornu*, что означает «рогатый».

** Рогатый и косматый (*лат.*).

судьи, сын мэтра Майе Лекорню, главного смотрителя Венсенского леса; все они граждане Парижа, и все до единого женаты.

Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел. Как загонаемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только плотнее втискивалось между плеч соседей.

Наконец один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку:

— Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином? В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев.

Банда школяров расхохоталась.

— Эй! Кто это там ухает? Какой зловещий филин?

— Стой-ка, я его знаю, — сказал один, — это мэтр Андри Мюнье.

— Один из четырех присяжных библиотекарей Университета, — подхватил другой.

— В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки*, — крикнул третий, — четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря.

* В средневековом Парижском университете было четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и факультет искусств. Последний состоял из четырех национальных групп: французской, пикардийской, нормандской и английской (которая при Карле VI, после войны с Англией, была переименована в германскую).

— Отлично, — продолжал Жан Фролло, — пусть же и побеснуются вчетверо больше!

— Мюнье, мы сожжем твои книги!

— Мюнье, мы вздуем твоего слугу!

— Мюнье, мы потискаем твою жену!

— Славная толстушка госпожа Ударда!

— А как свежа и весела, точно уже овдовела!

— Черт бы вас побрал! — прорычал мэтр Андри Мюнье.

— Замолчи, мэтр Андри, — не унимался Жан, все еще продолжавший цепляться за свою капитель, — а то я свалюсь тебе на голову!

Мэтр Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба и вес плута, помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк.

Жан, оставшись победителем, злорадно заметил:

— Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожусь братом архидьякону.

— Хорошо тоже наше университетское начальство! Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметило наших привилегий! В Городе потешные огни и майское дерево, здесь, в Ситэ, мистерия, избрание папы шутов и фламандские послы, а у нас в Университете — ничего.

— Между тем на площади Мобер хватило бы места! — сказал один из школяров, устроившихся на подоконнике.

— Долой ректора, попечителей и экономов! — крикнул Жан.

— Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шан-Гальяр из книг мэтра Андри, — продолжал другой.

— И сжечь пульты писарей! — крикнул его сосед.

- И трости педелей!
- И плевательницы деканов!
- И буфеты экономов!
- И хлебные лари попечителей!
- И скамеечки ректора!

— Долой! — пропел им в тон Жан. — Долой мэтра Андри, педелей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!

— Да это просто светопреставление! — возмутился мэтр Андри, затыкая себе уши.

— А наш ректор легок на помине! Вон он появился на площади! — крикнул один из сидевших на подоконнике.

Кто только мог, повернулся к окну.

— Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? — спросил Жан Фролло Мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило на площади.

— Да, да, — ответили ему остальные, — он самый, мэтр Тибо, ректор!

Действительно, это был ректор и все университетские сановники, пересекавшие в эту минуту площадь Дворца и торжественно направлявшиеся навстречу послам. Школяры, тесно облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток.

— Добрый день, господин ректор! Эй! Здравствуй-те же!

— Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками?

— Смотрите, как он трусит на своем муле! А уши у мула короче ректорских!

— Эй! Добрый день, господин ректор Тибо! *Tybalde aleator!** Старый дурак! Старый игрок!

— Да хранит вас Бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало двенадцать очков?

— Поглядите только, какая у него серая, испитая и помятая рожа! Это все от страсти к игре и костям!

— Куда это вы трусите, Тибо, *Tybalde ad dados*** , задом к Университету и передом к Городу?

— Он едет снимать квартиру на улице Тиботоды*** , — воскликнул Жан Мельник.

Вся компания школяров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур:

— Вы едете искать квартиру на улице Тиботоды, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?

Затем наступила очередь прочих университетских са-новников.

— Долой педелей! Долой жезлоносцев!

— Скажи, Робен Пуспен, а это кто такой?

— Это Жильбер Сюльи, *Gilbertus de Soliaco*, казначей Отенского коллежа.

— Стой, вот мой башмак; тебе там удобнее, запусти-ка ему в рожу!

— *Saturnalitias mittimus esse nuces***** .

— Долой шестерых богословов и белые стихари!

* *Тибо* — игрок в кости (*лат.*).

** *Тибо* с игральными костями (*лат.*).

*** *Тиботоды* — по-французски произносится так же, как *Thibaut aux dès*, что означает «Тибо с игральными костями».

**** Вот тебе орешки на праздник (*лат.*).

— Как, разве это богословы? А я думал, это шесть белых гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Роньи!

— Долой медиков!

— Долой диспуты на заданные и на свободные темы!

— Швырну-ка я в тебя шапкой, казначей святой Женевьевы! Ты меня объегорил! Это чистая правда! Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканио Фальцаспада из провинции Бурж, а ведь тот итальянец.

— Это несправедливо! — закричали школяры. — Долой казначей святой Женевьевы!

— Эй! Иоахим де Ладор! Эй! Лук Даюиль! Эй! Ламбер Октеман!

— Чтоб черт придушил попечителя немецкой корпорации!

— И капелланов из Сент-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами.

— *Seu ded Pellibus grisis fourratis!*

— Эй! Магистры искусств! Вон они, черные мантии! Вон они, красные мантии!

— Получается недурной хвост позади ректора!

— Точно у венецианского дожа, отправляющегося обручаться с морем*.

— Гляди, Жан, вон каноники святой Женевьевы.

* Дож — выборный пожизненный правитель купеческой республики Венеции в VIII—XVIII вв. С конца X в. в Венеции была учреждена церемония обручения дожа с морем — символ тесной зависимости от моря всей жизни Республики: в день церковного праздника Вознесения пышная процессия именитых лиц и духовенства выплывала на гондолах в открытое море, где дож бросал в воду обручальное кольцо.

- К черту чернецов!
- Аббат Клод Коар! Доктор Клод Коар! Кого вы ищите? Марию Жифард?
- Она живет на улице Глатиньи.
- Она греет постели смотрителя публичных домов.
- Она выплачивает ему свои четыре денье — *quattuor denarios*.
- *Aut unum bombum*.
- Вы хотите сказать — с каждого носа?
- Товарищи, вон мэтр Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена!
- *Post equitem sedet atra cura**.
- Смелее, мэтр Симон!
- Добрый день, господин попечитель!
- Покойной ночи, госпожа попечительша!
- Экие счастливыцы, им все видно, — вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители *Жоаннес де Молендино*.

Между тем присяжный библиотекарь Университета, мэтр Андри Мюнье, прошептал на ухо придворному меховщику, Жилю Лекорню:

— Уверяю вас, сударь, что это светопреставление. Никогда еще среди школяров не наблюдалось такой распущенности, и все это наделали проклятые изобретения: пушки, кулеврины, бомбарды, а главное, книгопечатание, эта новая германская чума. Нет уж более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена.

— Это заметно и по тому, как стала процветать торговля бархатом, — ответил меховщик.

* За всадником сидит мрачная забота (*лат.*).

В эту секунду пробило двенадцать.

— А-а! — одним вздохом ответила толпа.

Школяры притихли. Затем поднялась невероятная шумятица, зашаркали ноги, задвигались головы; послышалось общее оглушительное сморканье и кашель; всякий прилачился, примостился, приподнялся. И вот наступила полная тишина: все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли четыре судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фламандских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении — никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня, послов Фландрии и мистерии. Своевременно явился только полдень. Это уже было слишком!

Подождали еще одну, две, три, пять минут, четверть часа; никто не появлялся. Помост пустовал, сцена безмолвствовала.

Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда, еще негромкие. «Мистерию! Мистерию!» — раздавался приглушенный ропот. Возбуждение возрастало. Гроза, дававшая о себе знать пока лишь громовыми раскатами, уже веяла над толпой. Жан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии.

— Мистерию, и к черту фламандцев! — крикнул он во всю глотку, обвинившись, словно змея, вокруг своей капители.

Толпа принялась рукоплескать.

— Мистерию, мистерию! А Фландрию ко всем чертям! — повторила толпа.

— Подать мистерию, и немедленно! — продолжал школяр. — А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью.

— Дельно сказано, — закричала толпа, — а для начала повесим его стражу!

Поднялся невообразимый шум. Четыре несчастных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и подается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей. То была опасная минута.

— Вздернуть их! Вздернуть! — кричали со всех сторон.

В это мгновение приподнялся ковер описанной нами выше одеваальной и пропустил человека, одно появление которого внезапно умирило толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратило ее ярость в любопытство.

— Тише! Тише! — раздались отовсюду голоса.

Человек этот, дрожа всем телом, отвешивал бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом эти поклоны становились все более похожими на коленопреклонения.

Мало-помалу водворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой.

— Господа горожане и госпожи горожанки, — сказал вошедший, — нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии его высокопреосвященства господина кардинала превосходную моралите под названием «Праведный суд Пречистой Девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, выслушивая у ворот Боды приветственную речь господина

ректора Университета. Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем.

Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю, а значит, и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери-критики, то, во всяком случае, против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила: *Nec deus intersit**. Надо сказать, что одевание господина Юпитера было очень красиво и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой; голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра; и не будь его лицо частью нарумянено, частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанной мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искушенный глаз легко мог признать молнию, не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческий манер обвиты лентами, — этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

II. Пьер Гренгуар

Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались, а когда он пришел

* И Бог пусть не вмешивается (*лат.*).

к злополучному заключению: «Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем», его голос затерялся в буре гиканья и свиста.

— Немедленно начинайте мистерию! Мистерию немедленно! — кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жоаннеса де Молендино, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в Ниме.

— Начинайте сию же минуту! — визжал школяр.

— Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! — вопил Робен Пуспен и прочие школяры, угнездившиеся на подоконнике.

— Давайте моралите! — вторила толпа. — Сейчас же, сию минуту, а не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!

Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил свою молнию, сняв шляпу, поклонился и, дрожа от страха, пролепетал:

— Его высокопреосвященство, послы... госпожа Маргарита Фландрская...

Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят.

Его повесит толпа, если он ее заставит ждать, его повесит кардинал, если он его не дождетя; куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица.

К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя.

Этот незнакомец стоял по ту сторону балюстрады, в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся.

Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины; его черный саржевый камзол потерялся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал рукой знак несчастному страдальцу. Но тот, растерявшись, ничего не видел.

Новоприбывший сделал шаг вперед.

— Юпитер! — сказал он. — Милейший Юпитер!

Но тот не слышал его.

Тогда, потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть ли не в самое ухо:

— Мишель Жиборн!

— Кто меня зовет? — как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер.

— Я, — ответил незнакомец в черном.

— А! — произнес Юпитер.

— Начинайте сейчас же! — продолжал тот. — Удовлетворите желание народа. Я берусь умиловать господина судью, а тот, в свою очередь, умиловит господина кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

— Всемиловнейшие господа горожане, — крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавшей его освидетельствовать, — мы сейчас начнем!

— Eoie, Jupiter! Plaudite, cives!* — закричали школяры.

— Слава! Слава! — закричала толпа.

Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зал все еще дрожал от приветственных криков.

* Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! (*лат.*)

Тем временем незнакомец, столь магически превративший «бурю в штиль», как говорит наш милый старик Корнель, скромно отступил в полумрак своего каменного столба и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду зрителей и приметившие его беседу с Мишеlem Жиборном — Юпитером.

— Мэтр! — позвала его одна из них, делая ему знак приблизиться.

— Потише, милая Лиенарда, — сказала ее соседка, хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка, — он не духовное лицо, а светское; к нему следует обращаться не «мэтр», а «мессир».

— Мессир! — повторила Лиенарда.

Незнакомец приблизился к балюстраде.

— Что угодно, сударыни? — учтиво спросил он.

— О, ничего! — смутившись, ответила Лиенарда. — Это моя соседка, Жискета ла Жансьен, хочет вам что-то сказать.

— Да нет же, — зардевшись, возразила Жискета. — Лиенарда окликнула вас «мэтр», а я поправила ее, объяснив, что вас следует назвать «мессир».

Молодые девушки потупили глазки. Незнакомец, который не прочь был завязать беседу, улыбаясь, глядел на них.

— Итак, вам нечего мне сказать, сударыни?

— О нет, решительно нечего, — ответила Жискета.

— Нечего, — повторила и Лиенарда.

Высокий молодой блондин намеревался было уйти, но две любопытные девушки не желали так легко выпустить свою добычу из рук.

— Мессир, — со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, быстро обратилась к нему Жискета, — вам, значит, знаком этот военный, который будет играть роль Пречистой Девы в мистерии?

— Вы желаете сказать — роль Юпитера? — спросил незнакомец.

— О да! — воскликнула Лиенарда. — Какая она дурочка! Вы, значит, знакомы с Юпитером?

— С Мишелем Жиборном? Да, знаком, сударыня.

— Какая у него замечательная борода! — сказала Лиенарда.

— А то, что они сейчас будут представлять, красиво? — застенчиво спросила Жискета.

— Великолепно, сударыня, — без малейшей запинки ответил незнакомец.

— Что же это будет? — спросила Лиенарда.

— «Праведный суд Пречистой Девы Марии» — моралите, сударыня.

— А! Это другое дело, — сказала Лиенарда.

Последовало краткое молчание. Незнакомый преврал его:

— Это совершенно новая моралите, ее еще ни разу не представляли.

— Значит, это не та, которую играли два года тому назад в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали...

— Сирен, — подсказала Лиенарда.

— И совершенно обнаженных, — добавил молодой человек. Лиенарда стыдливо опустила глазки. Жискета, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал:

— То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралите, написанную нарочно в честь принцессы Фландрской.

— А будут петь пасторали? — спросила Жискета.

— Фи! — сказал незнакомец. — В моралите? Не нужно смешивать различные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда сколько угодно!

— Жаль, — проговорила Жискета. — А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, они сражались между собой и принимали разные позы, когда пели пасторали и мотеты.

— То, что годится для папского посла, не годится для принцессы, — сухо заметил незнакомец.

— А около них, — продолжала Лиенарда, — было устроено состязание на всяких духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии.

— А чтобы гуляющие могли освежиться, — подхватила Жискета, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил кто только хотел.

— А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Святой Троицы, — продолжала Лиенарда, — показывали пантомиму «Страсти Господни».

— Отлично помню! — воскликнула Жискета. — Господь Бог на кресте, а справа и слева два разбойника.

Тут молодые болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой:

— А немного подальше, близ ворот Живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы.

— А помнишь, как охотник около фонтана Непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой?

— А у парижской бойни были устроены подмости, которые изображали Дьепскую крепость!

— И помнишь, Жискета, едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англичанам перерезали глотки.

— У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры!

— И на мосту Менял, который к тому же был весь обтянут коврами!

— А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двухсот дюжин всевозможных птиц. Как это было красиво, Лиенарда!

— Сегодня будет еще лучше! — перебил их наконец нетерпеливо внимавший им собеседник.

— Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия? — спросила Жискета.

— Несомненно, — ответил он, потом добавил несколько напыщенно: — Я автор этой мистерии, сударыни!

— В самом деле? — воскликнули изумленные девушки.

— В самом деле, — слегка приосаниваясь, ответил поэт, — то есть нас двое: Жеан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмости, и я, который написал пьесу. Мое имя — Пьер Гренгуар.

Едва ли сам автор «Сиды» с большей гордостью произнес бы: «Пьер Корнель».

Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор новой моралите столь неожиданно разоблачил себя, к наивному восхищению Жискеты и Лиенарды, прошло немало времени. Примечательный факт: вся эта возбужденная толпа теперь благодушно ожидала начала представления, положившись на слова комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и донныне

всякий день подтверждается в наших театрах: лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления — это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно.

Однако школяр Жеан не дремал.

— Эй! — закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежнюю сумятицу. — Юпитер! Госпожа Богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сами!

Этой угрозы было достаточно.

Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов; ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре наруганные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону; оркестр умолк. Мистерия началась.

Вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре персонажа пьесы среди воцарившегося благоговейного молчания начали декламировать пролог, от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли; и это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы, отличавшиеся один от другого лишь качеством ткани: одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, одежда второго — из шелка, третьего — из шерсти, четвертого — из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — заступ. А чтобы помочь тем тугодумам,

которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не доискали бы их смысла, на подоле парчового одеяния большими черными буквами было вышито: «Я — дворянство», на подоле шелкового — «Я — духовенство», на подоле шерстяного — «Я — купечество» и на подоле льняного — «Я — крестьянство». Каждый внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола — по более короткому платью и по островерхим шапочкам и две женского пола — по длинным платьям и капюшонам на голове.

Лишь очень неблагоприятно настроенный человек не понял бы за поэтическим языком пролога того, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство — с Дворянством и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым дельфином*, которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Голконды, принцессу Трапезундскую, дочь великого хана татарского и проч., Крестьянство, Духовенство, Дворянство и Купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сенсаций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата.

Все это было действительно великолепно! Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры взапуски изливали потоки метафор, не было

* Игра слов: по-французски *dauphin* — дельфин и дофин (наследник престола).

столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом, в нескольких шагах от них; он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благосклонных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах, и весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины многочисленной аудитории. О достойный Пьер Гренгуар!

Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство этих первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Гренгуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, настолько затертый в толпе, что это мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал взобраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды, и подаяния. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскарабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послгов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю часть балюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова.

Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ошутимого беспорядка

не произошло бы, если б, на беду, школяр Жан с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого повесу, и он, не заботясь о том, что прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул:

— Поглядите-ка на этого хиляка! Он просит милостыню!

Тот, кому случилось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко вообразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории, внимательно следившей за представлением. Гренгуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, и все головы повернулись к нищему, а тот, насколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полускрыл глаза и со скорбным видом затыкнул:

— Подайте Христа ради!

— Вот тебе раз! — продолжал Жан. — Да ведь это Клопен Труйльфу, клянусь душой! Эй, приятель! Должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку?

И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в своей больной руке. Не сморгнув, нищий принял и подачку и издевку и продолжал жалобным тоном:

— Подайте Христа ради!

Это происшествие сильно развлекло зрителей; добрая половина их, во главе с Робеном Пуспеном и всеми школярами, принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым

голосом школяра и невозмутимо-монотонным напевом нищего.

Гренгуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам:

— Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!

В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться. А нельзя было не улыбнуться. Это Жискета ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание.

— Сударь, — спросила молодая девушка, — а разве они будут продолжать?

— Конечно, — весьма обиженный подобным вопросом, ответил Гренгуар.

— В таком случае, мессир, — попросила она, — будьте столь любезны, объясните мне...

— То, что они будут говорить? — прервал ее Гренгуар. — Извольте. Итак...

— Да нет же, — сказала Жискета, — объясните мне, что они говорили до сих пор.

Гренгуар подскочил, подобно человеку, у которого задела открытую рану.

— Черт побери эту тупоголовую дуру! — пробормотал он сквозь зубы.

С этой минуты Жискета сильно потеряла в его мнении.

Между тем актеры вняли его настояниям, и публика, увидев, что они стали декламировать, принялась их слушать, хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Гренгуар с горечью думал об этом.

Все же мало-помалу воцарилась тишина, школяр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом.

В сущности, это было великолепное произведение, и мы находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула его, несколько растянутая и бессодержательная, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души чистосердечно восхищался ее ясностью. Само собой разумеется, что четыре аллегорических персонажа, не найдя возможности приличным образом отделаться от своего золотого дельфина, слегка утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово чудо-рыбе, заключавшее в себе тысячу деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландрской, который тогда скучал один в своем Амбуазском замке, нимало не подозревая, что Крестьянство и Духовенство, Дворянство и Купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное (вот чудесный источник всех королевских добродетелей!), он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна и что в день, посвященный аллегориям и эпиграммам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, несколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. При всем том, с точки зрения критики, следует отметить, что поэту для развития этой великолепной мысли двухсот стихов было многовато. Правда, по распоряжению господина прево мистерии надлежало длиться с полудня до четырех часов,

и надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо.

Внезапно в самый разгар ссоры между барышней Купечеством и госпожой Дворянством, в то время когда дядюшка Крестьянство произносил следующие изумительные стихи:

Нет, царственной его не видывали зверя,

— дверь почетного возвышения, до сих пор остававшаяся так некстати закрытой, еще более некстати распахнулась, и звучный голос привратника провозгласил:

— Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский.

III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати крепостных аркебуз, выстрел знаменитой кулеврины на башне Бильи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито одним ударом семь бургундцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль — все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную и драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника: «Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»

И отнюдь не потому, что Пьер Гренгуар боялся или презирал монсеньора кардинала. Он не был подвержен ни подобному малодушию, ни подобному высокомерию. Истый эклектик, как выражаются ныне, Гренгуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых,

уравновешенных и спокойных духом людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, *stare in dimidio rerum*, всегда здраво рассуждают и склонны к либеральной философии, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Гренгуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца дю Брея, когда он в XVI столетии писал следующие божественно-наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и „паризианин“ по манере говорить, ибо *parrhisia* по-гречески означает „свобода слова“, коей я и докучал даже монсьёрам кардиналам, дяде и брату монсьёра принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга».

Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт, обладая слишком большой дозой здравого смысла и слишком изношенным камзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно же похвалы, расточаемые в нем по адресу дофина, сына льва Франции, дошли до святейшего слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что

если сущность поэта может быть обозначена числом десять, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую корыстолюбия на девять десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Гренгуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли таких удивительных размеров, что совершенно придушили собой ту неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта весьма драгоценна, так как она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Гренгуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоящее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые всякую минуту изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар разделял всеобщий восторг, и, в противоположность Лафонтену, который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил: «Что за невежда сочинил эти бредни?» — наш поэт охотно осведомился бы у соседа: «Кем написан этот шедевр?» И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала.

Опасения Гренгуара оправдались полностью. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» — повторяли тысячи уст. Злополучный пролог бы прерван вторично.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

